

Рюрик Ивнев

ВОСПОМИНАНИЯ О Н.А. КЛЮЕВЕ

В конце 1915 года иеромонах Мардарий, приехавший за несколько лет до этого из Сербии, прочел в Колонном зале Дворянского собрания лекцию «Сфинкс России», в которой, не называя имени Распутина, обрушился на него с обвинениями о подрыве основ Империи.

С наименьшим основанием фразу «Сфинкс России» можно применить и к поэту Николаю Клюеву. Он был загадочен с головы до ног.

Мне кажется, было бы непростительным не написать своих воспоминаний тем, кто с ним встречался и хотя бы до некоторой степени понял его характер и сокровенные мечты.

О Николае Клюеве я слышал задолго до нашего знакомства и, конечно, читал все стихи, которые он публиковал.

В конце 1915 года я получил по почте конверт. К моему удивлению, письмо было от Николая Алексеевича. Он выразил желание встретиться со мной. Удивлен же я был потому, что в то время поэты обычно знакомились или в салонах, или на литературных вечерах и концертах. А письма, как правило, писали начинающие мэтрам или к более старшим. Я был моложе Клюева. Я ему ответил на другой день по указанному адресу.

Через два дня вечером раздается звонок. Жил я тогда на Моховой улице в семье Павловых. Вот и стук в мою дверь. Я догадываюсь, кто это. Действительно, это Клюев. Я поздоровался с ним и попросил его сесть. Он стоял в дверях в зипуне,

перекладывая шапку из руки в руку, и смущенно глядел на меня или делал вид, что смущен.

Наконец он проговорил тихим, утрированно «народным говорком»:

– Я тут сяду, – он опустился на стоящую у самой двери маленькую табуретку, хотя я предложил ему кресло рядом со мной. Комната была продолговатая, и мы оказались на довольно далеком расстоянии друг от друга.

Мне приходилось уже слышать о комедианстве Ключева, и поэтому я не придавал особенного значения этой «увертюре» перед беседой. Однако... никакой беседы не состоялось. Я задал какой-то вопрос. Он что-то промямлил, и я больше ни о чем его не спрашивал, ожидая, что он сам начнет говорить, почему он написал мне письмо и захотел со мной встретиться. Но он молчал и сидел тихо и скромно, как «бедный родственник».

После длительной паузы Ключев сказал:

– Ну, я пойду.

Я промолчал. Он поднялся с табуретки, продолжая мять в руках теплую шапку. Дело было зимой. Потом отвесил низкий поклон и вышел из комнаты вслед за горничной.

Такова была наша первая встреча. Я до сих пор не могу понять, для чего он нанес мне этот странный визит. Позже, когда мы сблизились, я несколько раз хотел его спросить об этом, но не спрашивал, так как заранее знал, что правдивого ответа все равно не получу. Ключева я считал и считаю одним из самых самобытных поэтов и поэтому не придавал никакого значения его чудачествам. Они меня не отталкивали от него, ибо не это было главное в нем. Главным был его неоспоримый талант. Стихи его, особенно тех лет, глубоко западали в душу.

Память имеет свои нераспознанные законы. Некоторые встречи врезаются в нее, как нож в тесто, а другие рассеиваются, как папиросный дым. Ни о второй, ни о третьей встрече я ничего не помню. Смутно вспоминается только о встречах на некоторых литературных вечерах, где мы разговаривали

уже как знакомые. Ярko запомнились несколько встреч в салоне Швартц на Знаменской улице.

В этот «религиозный салон» меня ввела жена поэта Николая Владимировича Недоброво, внучка одного из бывших председателей Государственного Совета (кажется, Татищева).

Хозяйкой салона была дама лет тридцати, миловидная и приветливая. Елена Александровна Недоброво рассказывала мне о том, как возник этот салон. Подробности я забыл. Помню только то, что Швартц постриглась в монахини, но родственники убедили ее вместо удаления от мира посвятить себя религиозной деятельности. Она согласилась и открыла салон, в котором церковные сановники читали проповеди. Я особенно запомнил известного в то время митрополита Владимира. Поглаживая холеной рукой золотой нагрудный крест, он говорил о том, что причины всех несчастий, постигших Россию (подразумевались неудачи на фронте), заключаются в том, что богатые люди перестали следовать учению Христа и вместо помощи бедным занимаются стяжательством.

Вот в этом салоне я и встретил Клюева, который, как выяснилось потом, был здесь частым гостем и не раз выступал с речитативным чтением олонекких былин.

Надо пояснить, что салон Швартц не имел ничего общего с «религиозно-философским обществом», где велись дебаты о религии, в которых участвовали Розанов, Флоренский и многие другие. У Швартц никаких дебатов не было, ибо они считались «дурным тоном».

Там обычно выступал только один оратор на определенную религиозную тему, затем был длительный перерыв, во время которого разносился чай с бутербродами.

Как-то я пришел к Швартц с опозданием, когда Клюев уже закончил чтение своих олонекких былин.

Они произвели, по-видимому, большое впечатление, так как он был окружен «поклонницами», большей частью пожилого возраста.

Одна из них говорила:

– Николай Алексеевич! Вы нам доставили такое удовольствие! Не знаю, как вас отблагодарить. Я вас очень прошу не лишать этого удовольствия и моих гостей. У нас собираются по четвергам. Я пришлю за вами машину, которая потом отвезет вас домой.

Клюев поморщился:

– Машину? Нет, на машине я не поеду.

– Почему? – удивилась дама.

– Машина – дьявольское изобретение. Нет, нет, на машине я не поеду.

Дама удивилась:

– Ну, тогда я пришлю карету.

Клюев, делая большие глаза, спрашивает:

– Карету? Это – кажется, такой ящик, черный, да?

– Да, да, вроде ящика.

– А он без машины?

– Ну, конечно, без машины. Его везут лошади.

– Ах, лошади?.. Ну, тогда можно. На лошадях я к вам приеду.

Не знаю, верила ли эта дама всерьез, что Клюев не знает, что такое карета. Но, во всяком случае, она была довольна тем, что уговорила Клюева приехать к ней читать свои былины.

Если бы она знала содержание всех былин, а не только религиозных, которые распевал Клюев в других домах, то она, вероятно, отшатнулась бы от него, как от дьявола, если только была действительно религиозна.

Помню, как-то вышли вместе от Шварц. Шли пешком. Дошли до набережной Фонтанки. Клюев остановился, смотря на черные воды канала.

– Пустые люди, – проговорил он неожиданно.

– Про кого это вы, Николай Алексеевич?

– Про всех, – ответил Клюев.

И после паузы добавил:

– Про петербургскую нечисть. С жиру бесятся. Ни во что не верят. Всех бы их собрать, да и в эту черную воду.

– Ну, а дальше что?

– Интеллигенция не лучше их, – проговорил он злобно, не отвечая на мой прямой вопрос.

– Тогда зачем вы водитесь с нами?

Он посмотрел на меня своими прозрачными глазами. При свете фонаря они показались мне до того страшными, что холодок прошел по коже. Он, наверное, заметил это, потому что взял мою руку и крепко сжал ее.

– Вас я не трону. Вы не из ихней черной стаи.

Я улыбнулся:

– Можно подумать, что вы...

– Верховный Правитель? – закончил он за меня.

– Вроде этого, – ответил я.

– Душно здесь, всё пропитано сыростью, – произнес он загадочно. – Вот в Олонецкой у нас легко дышать.

Я хотел спросить у него, почему же он не живет в Олонецкой губернии, а крутится здесь, в этой «душной сырости», но он, как бы разгадав мои мысли, сказал:

– Если бы я остался там, то кто же был бы здесь.

Потом, передернув плечами, он круто перевел разговор на другую тему.

– Серёга-то погибает, окрутили его окаянные. Уж очень слаб он духом. Спасать его надо. А кто спасители? Блок да Городецкий. Их похвалы тяжелее плит каменных.

После долгого молчания Ключев сказал:

– Всё надо начинать сначала.

Я не понял, что надо начинать сначала, но не просил его разъяснить свою мысль, так как чувствовал, что он опять ответит иносказательно.

Мы остановились у ворот дома, в котором я жил.

– Выходит так, что я проводил вас?

– Да, – ответил я, – но не провели.

Он засмеялся и посмотрел на меня, как бы взвешивал мысленно какие-то фразы. Но больше ничего не сказал. Мы молча простились.

В марте 1917 года, недели через две после Февральской революции, вдали от центра города, на углу двух пересекающихся улиц, названия которых я забыл, я неожиданно встретил группу поэтов, среди которых были Николай Клюев, Сергей Есенин, Петр Орешин и Сергей Клычков. Они шли, несмотря на густо валивший снег, в пальто нараспашку, в каком-то странном возбуждении, размахивая руками, похожие на деревенских парней, возвращающихся с гулянки. Сначала я подумал, что они пьяны. Но после первых же произнесенных слов убедился в их полной трезвости. Очевидно, их возбуждение носило иной характер. Первым ко мне подошел Орешин. Лицо его было темным и злобным. Я его никогда таким не видел и поэтому невольно окинул его изумленным взглядом.

– Что, не нравимся тебе, что ли? – спросил Клюев.

И добавил, нехорошо улыбаясь:

– Наше времечко пришло!

Не понимая, в чем дело и что с ними происходит, я взглянул на Есенина, стоявшего в стороне. Поймав мой взгляд, он подошел ближе и стал около меня. Глаза его лукаво щурились. Однако он не останавливал ни Клюева, ни Орешина, ни одобрявшего их нападки Клычкова. Он только незаметно для них просунул свою руку в карман моей шубы и крепко сжал мои пальцы.

Через несколько дней я встретил Есенина одного и спросил, что означал этот «маскарад», как я мысленно окрестил недавнюю встречу.

– А ты испугался? – засмеялся Есенин.

– Да, испугался. Но только за тебя.

Есенин лукаво улыбнулся:

– Ишь как поворачиваешь дело!

– Тут нечего поворачивать, – ответил я. – Меня испугало то, что тебя как будто подменили.

– Не обращай внимания, это всё Ключев. Он внушил нам, что теперь настало «крестьянское царство» и что с «дворянчиками» нам не по пути. Видишь ли, он всех городских поэтов считает «дворянчиками».

– Уж не мнит ли он себя новым Пугачевым?

– Кто его знает, у него всё так перекручено, что черт ногу сломит.

А еще через несколько дней, на одном из бесчисленных митингов, которые стихийно возникали на улицах и площадях Петрограда, я случайно лицом к лицу столкнулся с Ключевым. Пока я раздумывал, здороваться с ним или нет, он обнял меня и поцеловал.

– Кто старое помянет, тому глаз вон, – сказал он миролюбиво, – просто мы ошалели тогда. Точно после попойки. Шутка ли сказать!.. Владыки мира полетели вверх тормашками. Помните салон Швартцихи? Митрополиты, кареты, машины – всё к чертовой матери сгнуло! Эти старые дуры, которые увивались около меня, чтобы послушать мои былины, думали купить меня своими ласковыми словами, а я в душе смеялся над ними. Мне они нужны были, чтобы проникнуть к той, которая всё решала сама и заставляла муженька плясать под свою дудку. Я хотел ее руками задушить все дворянские шеи. Но дело обошлось и без меня. Как же было мне не опьянеть от радости, хотя я уже давно чувствовал, что придется начинать всё сначала.

Я вспомнил наш ночной разговор у черных вод Фонтанки и сказал:

– Эту фразу вы мне сказали, когда еще никто не ожидал того, что случилось.

– Я ничего не знал, но всё предчувствовал, – ответил Ключев.

Он замолчал. Потом вдруг неожиданно спросил:

– Вы, конечно, читали «Петербург» Андрея Белого? Никто не понял души Петербурга так, как понял он! Только в Петербурге могло произойти всё это. Как подгнивший дуб, рухнула империя. Подсчитать невозможно с точностью, сколько тысяч станций у нас в России. И надо же было, чтобы царь отрекся от престола именно на станции «Дно». Отрекся на «Дне» и оказался на дне. Мне скажут, что это – случайность. Но тогда и Ходынка – случайность? Бедные мы все кроты. В темноте живем и света не видим.

В это время на площади раздались крики: «Да здравствует Государственная Дума! Да здравствует Родзянко!»

– Пойдемте отсюда. Тошно слушать. Нашли кого прославлять. Этого сукина сына я бы задушил своими руками, дворянское отродье! Камергер! Царский лакей, возжелавший сесть на престол своего барина! Он так же будет душить крестьян, как душил его барин... Ну, голубок, до свиданья, – проговорил он тихо. – Тяжела шапка Мономаха, но еще тяжелее упустить эту шапку.

И он скрылся в толпе.

На меня эта встреча произвела тяжелое впечатление. Я чувствовал, что Клюев сам запутался в своей собственной паутине. Трудно было поверить, что умный, талантливый и образованный человек мог всерьез вынашивать бредовые идеи о крестьянском царстве. А может быть, он просто любил мистифицировать всех, как не раз мне говорил об этом Есенин?..

При всей сложности и запутанности своих взглядов на жизнь, где искренность переплеталась с фальшью, и при болезненной склонности к мистификации, Клюев всё же оказался в числе немногих поэтов, признавших без всяких колебаний советскую власть. Я анализировал его творчество первых лет советской власти в статье «Поэзия душевного конфликта» (газета «Борьба» № 39 от 1 июня 1919 г., Симферополь).

Привожу ее полностью, так как газета, в которой была опубликована эта статья, стала библиографической редкостью.

«Поэзия изучается и не считается пока что “отжившим институтом”, но если мы глубже всмотримся в то, как изучают поэзию хотя бы современных поэтов – то мы не можем не ужаснуться.

Ужаснуться хотя бы потому, что дурное и нелепое изучение современной поэзии, отражающей в себе “минуты роковые” небывалой доселе эпохи революционных бурь, – доказывает то полное равнодушие к нашим великим, но прекрасным и ужасным в одно и то же время дням.

Если мы проследим за митингами искусств, устраиваемыми в различных концах России и Украины, за различными литературными вечерами большого масштаба и т. п., нам обманчиво будет казаться, что вопросы искусства захватывают широкие массы и находят в них живой отклик.

Но ведь “интересоваться искусством” – это одно, любить и понимать – это другое, и, наконец, уметь находить равнодействующую между искусством и жизнью – это третье.

Искусство буквально погибает в бюрократических спорах, в теоретических состязаниях “причастных к искусству” лиц, а о поэтах, о живых людях, отражающих нашу величайшую и интереснейшую эпоху, говорят и пишут только по поводу их выступлений, заявлений, опровержений.

А между тем какой громадный интерес представляет собой тот материал, который получают критики из мастерских поэтов.

В нем не только субъективные переживания ярких индивидуумов, – в них отражены мысли, чувства и то неуловимое, что нельзя назвать ни мыслями, ни чувствами, и чем полны сердца всех живущих сейчас, а не прозябающих.

Взять хотя бы поэта Николая Клюева, величайшего русского поэта, о котором так мало сравнительно думали и писали русские критики.

В каждой строчке этого своеобразного поэта сквозит та ужасная действительность, двуликостью которой заражены многие и многие и которую нельзя избежать умному человеку, как ребенку нельзя избежать кори и дифтерита.

По мне Пролеткульт не заплачет,
И Смольный не сварит кутью, –

признаётся Клюев, и всё же всей своей огромной поэтической душой он – в этом Пролеткульте, храме грядущей культуры, в этом Смольном,

Где нищий колодовый гроб
С останками Руси великой.

Клюев не скрывает, что многое из происходящего ему чуждо, многое даже враждебно – может быть, даже до невыносимости, и это его большая заслуга, что он об этом говорит, потому что, говоря так, он остается поэтом, он выносит свое страдание в свои стихи и сохраняет ту внутреннюю правдивость, которая является единственным мерилom подлинной художественности.

Николай Клюев переживает трагедию.

С одной стороны, он захлебывается от счастья, что произошла социальная революция, он здесь, с ней всей громадной душой, он далек от нытиков-интеллигентов, лицемерно вздыхающих о былой славе и блеске империалистической России, от которой в свое время даже Мережковский готов был прыгнуть “к черту в лапы”, но, с другой стороны, он не официальный оптимист, трубящий без зазрения совести о радости великой революции в тот момент, когда в городах Советской России и Украины почти на глазах у всех ползают тени нищих, калек, изможденных, измученных, вырванных из колеи рабочей жизни.

Клюев слишком поэт для того, чтобы смотреть на происходящее глазами официального трубадура революции.

Кроме того, помимо гнили и мерзости, которой была полна прежняя Россия, Клюев видит в ней кое-что и хорошее, светлое.

И это светлое облако воспоминания как бы всё время незримо присутствовало в стихах Клюева.

И он раскрывается душой, не могущей, несмотря на свою огромность, вместить все противоречия наших дней.

И уже одно то, что Клюев прямо и честно и, главное, беспристрастно подошел к переживаемым событиям, показывает, что он великий и прекрасный поэт.

Он слишком глубоко и болезненно переживает события наших дней, чтобы с эпическим спокойствием описывать величие Интернационала и трагедию, которую переживает старая Европа и старая буржуазная культура.

Есть в Ленине керженский дух,
Игуменский окрик в декретах, —

пишет Клюев, и ему чудится, что от Ленина, от Кремля, от Москвы пронесется по миру какой-то новый, суровый, как грубое крестьянское платье, дух, который покорит своим духовным «окриком» измученное человечество, привлечет к голодным и нищим полям России всех голодных и измученных всего мира.

Клюев не верещит о радостях рабочих, когда эти рабочие еще голодны, он не заверяет мир о том, что настал великий и радостный день освобождения, он знает, что это освобождение придет, но придет не в пестрых, шутовских ура-патриотических навыворот одеждах, а придет в суровом крестьянском платье, пройдя через очищающий огонь физических и духовных страданий, противоречий, ошибок и, может быть, даже преступлений.

И если Клюев не потеряет всех своих сил в мучениях своей души, если бешеная скачка дней не вытянет из него

всех жил, не выпьет всей его густой и чудной крови, то русская поэзия, которой так не умеют интересоваться современные критики, получит драгоценное наследие».

В начале 1921 года я был свидетелем любопытной сцены, когда Есенин привел Клюева в одну из «тайных столовых», которые расплодились в Москве в начале двадцатых годов, т. е. в период «военного коммунизма».

Я обедал в этой столовой, ожидая запаздывавшего Есенина. Наконец он появился в дверях. За ним мягкой вкрадчивой походкой, похожей на поступь кошки, собирающейся поймать мышь, шел Клюев. Опустив глаза, сложив белые, пухлые, как у архиерея, руки на животе, он, казалось, занят был только тем, как бы пройти незаметным. Между тем каждый его жест был направлен к тому, чтобы обратить на себя внимание. Он был одет в поддёвку, из-под которой скромно выглядывала голубая ситцевая рубаха в крапинку. Увидев меня, Есенин еще в дверях замахал мне рукой. Подойдя ко мне, он сказал:

– Николай из Питера приехал.

Между тем Клюев стоял в дверях и, к удивлению обедавших, отвешивал всем низкие поклоны, сгибаясь по пояс.

Заметив икону, висевшую в углу комнаты, он три раза истово перекрестился и лишь после этого такой же вкрадчивой походкой подошел к Есенину. Я забыл упомянуть, что рядом с нами за столиком сидел известный в Москве издатель Кожебаткин.

– Александр Мелентьевич, знакомьтесь, это мой друг Клюев.

Кожебаткин даже встал:

– Клюев! Я очень, очень рад! Ваши стихи...

– Будет врать, – перебил его Есенин, – ничьих стихов ты не любишь, просто у тебя издательский зуд.

– Я стихов не пишу, – растягивая букву «о», как резину, произнес Клюев.

– Позвольте! – воскликнул Кожебаткин. – Но ведь только что вышел сборник ваших стихов.

– Ну, это так, – неопределенно ответил Клюев.

– Да ты ему не верь! – засмеялся Есенин. – Он самому себе не верит. Он ни одного правдивого слова не скажет!

Клюев посмотрел на него своими как бы умышленно обезпеченными глазами и вдруг, сменив протяжный тон на скороговорку, произнес быстро и ловко, словно нанося удары:

– Ну, ну, а правда-то какая? Какая правда? Скажи, а? Ты ее видел, да? Щупал? Трогал? Что она, как девкина грудь или как бычий хвост?

Есенин, щуя глаза, заливался смехом:

– Боже мой! До чего я его люблю! – говорил он сквозь смех. – И до чего ненавижу! Шельма, скот, божий человек.

– Ты, Серёга, брось бога-то гневить, – снова перешел на протяжный тон Клюев.

– Так ты ведь в бога-то не веришь! – дразнил его Есенин.

– Я, может быть, и не верю, а сердце мое верит.

В это время к нам подошла хозяйка «тайной столовой» Софья Павловна Карпович.

– Чем вы будете нас кормить? – спросил Есенин.

– Сегодня замечательные слоеные пирожки, которые вы так любите. Ваша компания уместится за одним столом? Может быть, приставить второй?

– В тесноте, да не в обиде, – ответил Есенин.

– А вам? – небрежно обратилась она к Клюеву. – Тоже обед?

Тот взглянул на нее.

На одну секунду их зрачки скрестились. Произошла таинственная переключка. Глаза Клюева были скорее приятны, ее – отталкивающи, но, как это ни странно, между ними было что-то общее.

После небольшой паузы Клюев ответил:

– Мне дайте сто-кан холодной воды.

Софья Павловна натянула на свои тонкие губы «светскую улыбку». Есенин фыркнул.

Клюев с невозмутимым спокойствием пояснил:

– Я уже откушал. А пью я только воду.

– Врешь, – перебил его Есенин, – ты дуешь водку и чай черный, как чернила.

– Может, и пил, да перестал, – небрежно бросил Клюев и раза три мелко-мелко перекрестил рот.

А через несколько дней после этого ко мне в Трехпрудный переулок, в котором я жил, совершенно случайно, не стовариваясь, зашли один за другим Хлебников, Пастернак, Мандельштам и Клюев...

Разговор зашел о поэзии.

Мандельштам сказал:

– Стихи должны или убивать, или возрождать. Стихи должны или сжигать, как огонь, или обжигать, как лед, стихи должны быть или бальзамом, или ядом. Если они ни то, ни другое, значит, они манная каша, которая не нужна никому, кроме маленьких детей и беззубых стариков. Манная каша остается манной кашей. Ни изюм, ни миндаль ей не помогут. Хороших поэтов, я говорю о живых, а не о мертвых, у нас мало, а хороших стихов еще меньше. Трагедия русской поэзии в том, что у нас нет Белинского, да и вряд ли будут Белинские. Читатели, как бы образованны они ни были, это стадо овец без пастуха. Овцы не могут обойтись без пастуха, так и читатели не могут обойтись без Белинского. Поэзии необходим гениальный критик, как живому организму вода.

Без умного, совестливого, скромного и раз и навсегда нащупавшего пульс подлинной поэзии критика поэзия не может быть выведена на свет божий. Она будет существовать всегда, но жить в потемках, в подземелье, никому не ведомая и никому не нужная. Не путайте поэтов со стихотворцами.

Стихотворцы всегда будут наполнять здания редакций, конференц-залы академий и дворцы владык, и среди этих толп стихотворцев раз в несколько веков вы найдете настоящих поэтов – Гёте, Державина, Пушкина. Страшно делается, когда вспоминаешь о наших критиках двадцатого века: Айхенвальд, Измайлов, Арабажин... Не благодаря им, а вопреки им Блок стал Александром Блоком.

Хлебников слушал молча.

Со стороны могло показаться, что он не столько слушает, сколько думает о чем-то другом, но, несомненно, косвенно связанном с тем, что говорил Мандельштам.

Воспользовавшись паузой, он сказал тихим, приглушенным голосом:

– Нужен ли пастух вообще? И кто может определить, какой пастух должен быть для стада? Пусть стадо остается стадом, но ведь кроме овец существуют и мыслящие люди. Пусть они сами решают, какая поэзия им ближе и дороже. Нет поэтов, и нет стихотворцев. Есть люди, которые сами себя называют поэтами, и есть люди, которые дают это звание другим. Такие звания похожи на табель о рангах. В царской армии были чины генерала от инфантерии, генерала от артиллерии. Цари не додумались установить чин генерала от поэзии. Ниже рангом – стихотворцы, ну а самый низший чин – рифмоплет. Мне кажется, что вы, – обратился он к Мандельштаму, – сами того не желая, попали в сети старых образов и мыслей.

Мандельштам расхохотался:

– Дорогой Велимир, с вами невозможно говорить серьезно. Вы ребенок, пусть талантливый, но всё же ребенок.

Хлебников не обиделся, но и не улыбнулся. Он сидел как всегда полуприсутствующий и полуотсутствующий.

Мандельштам продолжал:

– Я говорю о реальных фактах и обстоятельствах. А вы взлетаете к небу и парите в облаках. Для вас не существует

ни больших городов, ни типографий, ни журналов, ни газет, ни Соляного городка в Петрограде, ни Политехнического музея в Москве. Поэты для вас не живые люди, а мертвые схемы. Может быть, небо, звезды, облака – это и есть сама поэзия, но все же эта поэзия не может существовать без людей.

– Мы говорим на разных языках, – тихо сказал Хлебников, как бы не видящими глазами смотря на Мандельштама.

– Давайте говорить на каком-нибудь одном.

– Всё это не то, что нам надо сегодня, – сказал Борис Пастернак, своей мягкой улыбкой как бы желая примирить спорящих, – мы не можем переделать мир в один день. Революция не английский парламент: мы сейчас на вулкане и должны стремиться к тому, чтобы этот вулкан был спасительным, а не гибельным для поэзии. Дело не в рангах и вкусах, а в самой сущности поэзии. Она всегда будет неровной, она всегда будет спорной, она будет всегда двигаться и никогда не остановится. Она сама вулкан, второй вулкан в вулкане революции.

В это время открылась дверь, и я увидел Клюева. Он незаметным, но быстрым взглядом обвел всех присутствующих, сделав общий поклон.

Он подошел ко мне и прошептал:

– Я пришел поговорить... А у тебя здесь целый сход.

– Мои друзья должны быть и твоими друзьями.

– Чем больше друзей, тем страшнее, – ответил Клюев.

– Ну, Николай Алексеевич, ты всегда что-нибудь придумываешь.

– А что придумывать, когда всё уже без меня придумано и обдумано. Ну, я зайду в другой раз.

– Николай Алексеевич, неудобно. Подумают, что ты гнушаешься ими.

– Раб божий никем гнушаться не может. Пусть лучше уж мною гнушаются.

– Николай Алексеевич, останься, я тебя очень прошу, иначе ты меня поставишь в неудобное положение.

Клюев посмотрел на меня, о чем-то думая, и вдруг, улыбувшись, сказал:

– Ну, как не уважить твоей просьбы...

Клюев остался. Но разговор не клеился. Я даже пожалел, что упросил его остаться, получилась еще бóльшая неловкость. Мне казалось, что моя комната превратилась в зал ожиданий для пассажиров.

Немногоречивый Хлебников совсем умолк и был похож на замершего ежа. Мандельштам вскинул еще выше свою голову и сидел неподвижно, как мраморное изваяние. Пастернак беспомощно смотрел по сторонам, словно не узнавал комнаты, в которой бывал не раз. Только глаза его горели на совершенно потухшем лице.

Я невольно подумал о том, как отягощает и связывает человека резко выраженная индивидуальность. Такой человек мгновенно замыкается при мысли, что рядом сидящие с ним люди никогда и ни при каких обстоятельствах не смогут его понять до конца.

Клюев чувствовал, что он здесь лишний. Ему казалось, что каждый из находящихся здесь поэтов не любит его, но талант его признаёт. Он не испытывал смущения. Наоборот, он был рад, что остался и что на некоторое время как бы парализовал всех. Глаза его сделались еще более холодными и спокойными.

Мне было ясно, что Клюев наслаждался общим окаменением. Он сидел, сложив на животе свои пухлые руки, и изредка вращал указательными пальцами рук, то слева направо, то справа налево.

Я подумал, что если даже Толстой и Достоевский ни разу не встретились и не проявили желания встретиться, значит, всё происходившее сейчас было закономерное.

Закономерно и то, что после смерти Достоевского Толстой писал Страхову: «Я никогда не встречался с Достоевским, он был всегда чужд мне, но сейчас я себя чувствую так, как будто потерял опору».

Первым поднялся Манделъштам. Он умел быть изысканно-вежливым и с петербургской учтивостью простился со всеми.

Я заметил, что Клюев растерялся, когда пожимал руку Манделъштаму. Вслед за ним, с бурной радостью, что он наконец может стать самим собой, Пастернак.

Прощаясь со мной, Клюев сказал:

– В Питере – туман, а здесь – обман.

Я уже привык к его неожиданным изречениям, чтобы удивляться им.

Я забыл упомянуть, что начиная с первых дней Октябрьской революции я был сначала секретарем А.В. Луначарского в Петрограде, потом с марта месяца 1918 года его секретарем-корреспондентом в Москве. В октябре 1918 года, увлекшись идеей агитпоездов, я просил Луначарского дать мне возможность принять участие в организованных поездах его имени. Луначарский исполнил мою просьбу и назначил меня заведующим Бюро по организации этого поезда. В наше распоряжение был предоставлен особняк на Пречистенке. И вот 23 марта 1919 года по делам этого Бюро Луначарский командировал меня в Харьков (ставший столицей Украины) и Киев. В середине мая 1919 года Красная Армия освободила Крым от белых, и Луначарский пролонгировал мою командировку для поездки в образовавшуюся Крымскую Республику со столицей – Симферополь. <...>

Нашествие белых банд Деникина отрезало мне путь в Москву, начиная с июля 1919 года по ноябрь 1920, так что всё это время я не встречался с Клюевым. Кажется, он жил эти годы в Петрограде и только наезжал иногда в Москву.

Частые встречи с Клюевым у меня возобновились только в самом конце двадцатых и в начале тридцатых годов, когда Клюев переехал на постоянное жительство в Москву и получил комнату в Гранатном переулке.

Начну с того, что мне наиболее запомнилось. Во время шумного судебного процесса Рамзина, о котором сообщалось

не только во всей нашей прессе, но и за границей, я как-то утром пришел к Ключеву. Комнату свою он обставил на манер деревянной избы старого времени. Он приветливо со мной поздоровался, поохал, жалуясь на нездоровье. В разговоре я коснулся дела Рамзина.

Ключев, по обыкновению, когда хотел выразить недоумение, сделал круглые глаза.

– Рамзин? – спросил он удивленно. – Никогда не слышал. А кто он такой, этот Рамзин?

– Ну, Николай Алексеевич, – сказал я, – что за вопрос. Все газеты пишут о процессе Рамзина, а вы не знаете.

– Но я же газет не читаю, – елеиным голосом ответил Ключев. – Куда нам со свиным рылом да в калашный ряд. Что мы, деревенские, понимаем? Нам бы только сытыми быть.

– Всё равно, – сказал я. – Даже те, кто не читает газет, не могут не знать о Рамзине. О нем говорит вся Москва.

– Как ты сказал? – перебил меня Ключев. – Рамзин?.. – Он сделал вид, что хочет вспомнить, но никак не может.

– Рамзин... Рамзин... Что-то знакомое. Ах, да, вспомнил. У нас в Олонецкой губернии был купец Рамазинов, торговал он лампадным маслом. Крепкий мужик был, деловой. А этот, ты говоришь, Рамзин. Нет, нет, не знаю Рамзина. А вот Рамазинова хорошо помню...

В этот момент раздался стук в дверь, и тоненький девичий голосок прожурчал:

– Николай Алексеевич, вас к телефону.

Ключев вышел в коридор. Разговор его затянулся. Я прошелся по комнате, взял со стола какую-то книгу и сел на лавочку, посланную домотканым ковриком. Но едва я прочел страницу, как почувствовал, что под ковриком что-то шуршит. Я приподнял коврик и... увидел пачку газет. Смотрю – все разные и сегодняшние. Кроме того, сразу видно, что они не «свежие», а уже читанные.

Я аккуратно положил их на место.

В это время вернулся Клюев.

– Ты не гневайся на меня, что оставил тебя одного. Звонила мне одна стихолюбка. Надоели они мне. Ни шиша не понимают в стихах, а лезут. Умеют только ахать да охать. Как хорошо, как хорошо, а что хорошо, сами не знают.

– Николай Алексеевич, – сказал я, – так-то вы не читаете газет? – И я вытащил из-под коврика пачку.

Клюев опять пустил в ход свои круглые глаза и даже перекрестился. Потом вдруг лукаво улыбнулся:

– Это же ты принес с собой. Я же тебе сказал, что я газет не читаю.

Потом, после небольшой паузы добавил:

– Не сердись, голубок. Если не ты, значит, кто-нибудь другой подшутил надо мной.

– Но вы же сами сказали, что я первый утренний гость.

– Ну, значит, вчера подкинули.

– Как же можно было вчера подкинуть сегодняшние газеты?

Но Клюев не смутился:

– Вчера ребята приходили из редакции. Вот кто-нибудь из них и подшутил надо мной. Ведь молодежи что надо? Посмеяться и побалагурить. Ну, а придут еще раз, я их выгоню вон.

Я знал, что он всё это выдумал, но промолчал.

Как-то ехали с Клюевым в переполненном трамвае. Вдруг он засуетился и начал протискиваться к выходу. Как всегда бывает в таких случаях, некоторые пассажиры начинают ворчать, а иной раз грубо спрашивать: «Гражданин, куда вы лезете?» Клюев не обращал на них внимания, продолжал протискиваться вперед и жалобно-испуганным голосом умолял пропустить его, так как он должен выходить на следующей остановке. Наконец он добирается до площадки, но вместо того, чтобы выйти, пропускает входящую публику, а сам прижимается к стенке и не выходит.

Раздаются голоса:

– Гражданин! Гражданин! Что же вы не сходите! Ваша остановка.

Клюев спокойно отвечает:

– Ну, теперь уже всё равно. По-о-еду дальше.

И сходит, когда надо действительно: проехав остановок пять после той, на которой ему якобы надо было сходить.

Когда трамвай тронулся, я спрашиваю:

– Николай Алексеевич! Для чего ты разыграл эту комедию?

Клюев смотрит на меня не улыбаясь, но в глазах его сверкают искорки смеха.

– Это не комедь, – отвечает он серьезным тоном. – Я задумался, и мне показалось, что пора сходить.

– Что же ты тогда меня не поторопил?

– За всем не усмо-о-тришь.

В другой раз, тоже в трамвае, остановившемся случайно у какой-то церкви, он начал расспрашивать соседей:

– Уж вы простите меня, деревенского жителя. Я в Москве первый раз. Какая это церковь? Какого века? Я в этом деле ничего не понимаю, но хочется знать, а то скажи в деревне, что в Москве-то я был, а назвать церковь не могу.

Какой-то старичок сжалился над любопытным крестьянином в зипуне и начал ему подробно объяснять, какая это церковь, в честь какого святого и в каком веке выстроена.

Клюев внимательно выслушал его, время от времени кивая головой, а когда старик закончил свои объяснения, проговорил спокойно, как учитель, поправляющий ответ ученика:

– Вы ничего в этом не понимаете, а беретесь объяснять. Эта церковь...

И он прочел целую лекцию об ее истории, наслаждаясь впечатлением, которое произвела его лекция на публику. Сконфуженный знаток древностей растерялся и протиснулся к выходу, не дожидаясь конца клюевской лекции.

На этот раз я уже не спрашивал, зачем ему понадобилась эта «комедь».

В эту пору Клюев написал изумительную поэму «Погорельщина», в которой описывается голод (не 1922 года, очевидно, более позднего времени).

Он читал эту поэму во всех домах, в которых бывал (у Морозовых, Сытиных, у искусствоведа Анисимова и других). Напечатана на машинке она была во многих экземплярах.

Поэма производила огромное впечатление на всех, кто ее слышал. Я бы сравнил ее с плачем Сырдо<н>а в эпосе осетинского народа «Нарты». Все тончайшие оттенки мучительного страдания от голода переданы были виртуозно. Это было высокое и горестное искусство.

Однажды я зашел мимоходом к Анисимову, жившему в центре города вместе с двумя незамужними сестрами. Обычно у них каждый день бывали гости, но не больше двух-трех человек. А на этот раз я увидел, что в столовой накрыт огромный стол, уставленный закусками и винами.

Я хотел ретироваться, но Иван Алексеевич и его сестра настояли на том, чтобы я остался, сказав, что Клюев будет читать «Погорельщину».

Я уже слышал эту поэму в чтении Клюева несколько раз, но соблазн услышать еще раз его изумительное чтение был так велик, что я остался. Через некоторое время пришел Клюев, а за ним один за другим начали собираться гости. Иных я знал, но было несколько человек, которых я никогда у Анисимовых не видел.

Я сел около сестер Анисимовых, почти рядом с самоваром, у которого они хозяйничали. Когда вошел первый незнакомец, я спросил тихо у одной из сестер:

– Кто это?

Она так же тихо мне ответила:

– Норвежский посланник.

Через несколько минут появился еще один незнакомый мне человек. Я опять любопытствовал:

– Кто этот гость?

Варвара Алексеевна так же тихо ответила:

– Германский поверенный в делах.

Третий незнакомец оказался... французским послом.

– Что это? Дипломатический раут? – спросил я шутя.

Варвара Алексеевна засмеялась:

– Они просто пришли послушать «Погорельщину».

После ужина Клюев с непревзойденным мастерством и вдохновением прочел поэму.

Я спросил Варвару Алексеевну, знают ли эти дипломаты русский язык. Она ответила, что двое из них знают очень хорошо, а один – приблизительно.

У Клюева было с собой несколько экземпляров поэмы, перепечатанных на машинке. Всем трем дипломатам он вручил по экземпляру.

Я жалею, что тогда не попросил у Клюева одного экземпляра, ибо сейчас не знаю, сохранилась ли она в наших литературных архивах. Мне кто-то сказал, что эта поэма не сохранилась. Если это так, то мы потеряли огромную ценность.

1970